Роман в письмах
Тургенев
и Виардо
Я все еще
люблю...

**Елена Первушина**

# Тургенев и Виардо. Я все еще люблю…

Серия «Роман в письмах»

*Текст предоставлен издательством*
*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8945353*
*Елена Первушина. Тургенев и Виардо. Я все еще люблю…: Издательство «Алгоритм»; Москва; 2014*
*ISBN 978-5-4438-0824-6*

## Аннотация

Любовь не может быть вечной. Так обычно говорят скептики. Впрочем, жизнь не устает убеждать их в обратном. Испепеляющая история любви Ивана Тургенева и Полины Виардо – супруги директора Итальянской оперы в Париже Луи Виардо – длилась более сорока лет.

Эта маленькая некрасивая женщина сводила с ума всех мужчин своего времени. Но только русский писатель И. Тургенев решился на самую страшную из возможных пыток души. Он стал другом семьи, а она – его главным счастьем и великой болью. Книга, которую вы держите в руках, – доказательство существования подлинной любви длиною в жизнь, самая полная версия романа в письмах И. Тургенева и П. Виардо, когда-либо издававшаяся в России.

«Я подчинен воле этой женщины. Она заслонила от меня все остальное, так мне и надо…» (И. Тургенев)

«Мы слишком хорошо понимали друг друга, чтобы заботиться о том, что о нас говорят, ибо обоюдное наше положение было признано законным теми, кто нас знал и ценил…» (П. Виардо)

# Содержание

Часть первая. Писатель 5
Часть вторая. Певица 19
Часть третья. Письма[5] 33
Луи и Полина Виардо – Тургеневу 41
Конец ознакомительного фрагмента. 43

# Елена Первушина
# Тургенев и Виардо. Я все еще люблю…

© Первушина Е.В., 2014
© ООО «Издательство «Алгоритм», 2014

# Часть первая. Писатель

Голубь ухаживал за голубкой. Выпячивал сизый, с перламутровыми перышками зобок, распускал крылья, чертил хвостом короткие дуги на песчаной дорожке, кружил, переминался с ноги на ногу, басовито гудел, уговаривал: «Гурррр… Гурррр… Грууу…».

Голубка была потемнее его пером, сухонькая, строгая. Вышагивала, словно и не видя его, но все же не улетала, позволяла топтаться на ее пути, выписывать круги… Белое перышко, прилипшее к ее головке, придавало ей неожиданное сходство со «Всадницей» Брюллова.

Мальчик, темноволосый, темноглазый, замер у ствола дерева, наблюдая, а скорее, как он позже скажет: «предавался тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас и в нас самих»…

Над старым садом, над усадьбой вставало солнце, тени деревьев на аллее на глазах становились короче, аромат липового цвета над аллеей – гуще и насыщеннее. Утреннюю прохладу сменял уверенный летний жар, который давил на грудь и плечи с физически ощутимой силой. В кустах чиркали зяблики. Где-то высоко, в кроне старого дуба выводила свою резкую и одновременно мелодичную песню зарянка, с конюшни долетало ржание лошадей и слабый, но острый и раздражающий запах дегтя. Но все это не нарушало тишины. Она была внутри мальчика.

Вдруг негромкий звук вывел его из оцепенения. В доме тихо и вкрадчиво заиграла флейта. Мальчик весь обратился в слух, но никак не мог определить тональность – мажор или минор? Это было очень важно. Вот музыка стала громче, уверенней. Флейта щедро рассыпала рулады. Мажор, конечно же мажор! Вспугнув голубей, мальчик побежал к видневшемуся в конце аллеи белому усадебному дому…

* * *

Иван Сергеевич Тургенев – второй сын Варвары Петровны, в девичестве Лутовиновой, и Сергея Николаевича Тургенева родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в Орле. Детство провел в имении своей матери Спасском-Лутовинове. Варвара Петровна – не красивая, не молодая, в юности немало претерпевшая от отчима так, что вынуждена была бежать из дома, и от скупого дяди, у которого жила после побега, неожиданно оказалась единственной дядиной наследницей, владелицей 5000 душ и завидной невестой. Она вышла замуж по страстной любви за промотавшегося кавалергарда, единственным достоинством которого была необычайная красота. «После императора Александра I я не видела никого красивее вашего мужа», – так говорила Варваре Петровне некая немецкая принцесса, с которой они повстречались на водах. Впрочем, Варвара Петровна прекрасно знала цену своему мужу и своему браку. Сергей Николаевич не вмешивался в дела управления имением, его влекли амурные приключения в окрестностях Спасского. Все надежды Варвары Петровны на любовь и понимание были связаны с ее детьми.

* * *

Забегая вперед, скажем, что дети ее разочаровали.

Самый младший – Сергей с детства страдал эпилептическими припадками и умер в шестнадцать лет.

Сергей Николаевич Тургенев – отец писателя. Неизвестный художник. 1810-е гг.

Старший, Николай, по воспоминаниям современников «джентльмен совершенно не русского, но английского типа», не оправдал ее надежд. Пошедши вслед за отцом на военную службу, он запомнился сослуживцам тем, что «был насмешлив, и хотя не был зол, но не прочь был при случае уколоть и даже язвительно надсмеяться. Речь Николая Сергеевича была необыкновенно цветаста и громка. Знал языки в совершенстве и выговаривал каждый, как свой родной…. Как бы много и долго ни говорил Николай Сергеевич, мы только всегда поражались и восхищались его необыкновенной способностью передавать все так картинно и живо…». Главной «дерзостью» в глазах матери оказалось то, что он выбрал в спутницы жизни Анну Яковлевну Шварц, «немку из Риги», служившую в Спасском камеристкой. Вар-

вара Петровна пришла в неописуемый гнев и отказала сыну в содержании, даже когда у супругов появились дети, впрочем, рано умершие. Николай был вынужден выйти в отставку, устроиться на службу в канцелярию 3-го Департамента Министерства государственного имущества и зарабатывать уроками французского языка, готовя мальчиков в военно-учебные заведения. Анна Яковлевна давала уроки игры на фортепиано. Лишь в 1849 году, за год до смерти, мать согласилась на брак и поставила Николая управляющим своими имениями. Что вовсе не означало, что она простила блудного сына. В одном из писем в ноябре 1849 года Николай Сергеевич пишет: «…как только получу бумаги, еду в деревню. Не в Спасское, куда мне запрещен въезд…. Но я раскину свой шатер в Тургеневе[1], где, как новый Дон Кихот, построю себе лачугу и буду прозябать по крайней мере у себя дома…». Поссорить братьев Варваре Петровне не удалось. Иван Сергеевич поддерживал Николая. Находил Анну Яковлевну прелестной, помогал обустроиться в Тургеневе. Он ссорился с матерью, защищая его. После ее смерти он честно разделил с братом имения, обеспечив его и Анну Яковлевну.

Да, ладить с Варварой Петровной даже ее любимчику Ивану было тяжело. Сделавшись самовластной хозяйкой имений, барыня чудила: разговаривала с домашними на ломанном французском, по-французски же молилась, завела себе «министра двора» и дала ему фамилию Бенкендорфа, и «министра почт» – мальчишку-почтаря лет 14, горничных произвела в «камер-фрейлины» и «гофмейстерины», меняла им имена, учила не покладая розг, могла наказать за неловкий поклон, за кривую ухмылку. Держала крепостной театр и менялась актрисами с соседями помещиками. Была вольна кого казнить, кого миловать. Историю глухонемого дворника Андрея и его собачки Муму Тургенев помнил с детства.

Для вручения барыне почты существовал особый ритуал. «Министр почты» передавал принесенные из Мценска письма «министру двора». Тот просматривал их и, если находил листки с траурной каймой, приказывал дворовому флейтисту играть печальную музыку, чтобы предуготовить Варвару Петровну к новостям. Если же траурных писем не находилось, флейтист должен был играть веселую мелодию.

Не обходили розги и любимца матери Ванечку. Как большинство провинциальных помещиц Варвара Петровна была окружена целой свитой наперсниц и приживалок. И вот однажды: «Одна приживалка, уже старая, Бог ее знает, что она за мной подглядела, донесла на меня моей матери, – рассказывал Тургенев. – Мать, без всякого суда и расправы, тотчас начала меня сечь, – секла собственными руками, и на все мои мольбы сказать, за что меня наказывают, приговаривала: «Сам знаешь, сам должен знать, сам догадайся, за что я секу тебя!» Мальчик и рад бы был признаться, чтобы прекратить пытки, да не знал в чем. Поэтому ежедневные экзекуции продолжались. Ваня, не видя для себя другого выхода, решил бежать из дома.

«Я уже встал, потихоньку оделся и в потемках пробирался коридором в сени, – вспоминал Тургенев. – Не знаю сам, куда я хотел бежать, – только чувствовал, что надо убежать и убежать так, чтобы не нашли, и что это единственное мое спасение. Я крался как вор, тяжело дыша и вздрагивая. Как вдруг в коридоре появилась зажженная свечка, и я, к ужасу своему, увидел, что ко мне кто-то приближается – это был немец, учитель мой. Он поймал меня за руку, очень удивился и стал меня допрашивать. «Я хочу бежать», – сказал я и залился слезами. «Как, куда бежать?» – «Куда глаза глядят». – «Зачем?» – «А затем, что меня секут, и я не знаю, за что секут». – «Не знаете?» – «Клянусь Богом, не знаю…»

Тут добрый старик обласкал меня, обнял и дал мне слово, что уже больше наказывать меня не будут. На другой день утром он постучался в комнату моей матери и о чем-то долго с ней наедине беседовал. Меня оставили в покое».

[1] Имение отца.

Был и другой случай, возможно, даже более страшный. Одним из лучших друзей мальчика в усадьбе был Леонтий Серебряков, «доморощенный актер и поэт», познакомивший мальчика с русской поэзией. Тургенев описал этот опыт в своей повести «Пунин и Бабурин»: «Невозможно передать чувство, – писал Тургенев, – которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, он внезапно, словно сказочный пустынник или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать! И вот удалось нам уйти незамеченными; вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек; вот мы сидим уже рядком, вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья! С каким трепетом, с каким волнением немотствующего ожидания гляжу я в лицо, в губы Пунина – в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь! Раздаются наконец первые звуки чтения! Все вокруг исчезает… нет, не исчезает, а становится далеким, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впечатление чего-то дружелюбного и покровительственного! Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас от всего остального мира; никто не знает, где мы, что мы – а с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею, у нас происходит важное, великое, тайное дело… Пунин преимущественно придерживался стихов – звонких, многошумных стихов: душу СВОЮ ОН готов был положить за них! Он не читал, он выкрикивал их торжественно, заливчато, закатисто, в нос, как опьянелый, как исступленный, как Пифия! И еще вот какая за ним водилась привычка: сперва прожужжит стих тихо, вполголоса, как бы бормоча… Это он называл читать начерно; потом уже грянет тот же самый стих набело и вдруг вскочит, поднимет руки – не то молитвенно, не ТО повелительно…

Таким образом, мы прошли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира… но даже «Россияду» Хераскова!».

Вместе с ним Тургенев как-то ночью совершил налет на библиотеку, куда ходить обоим воспрещалось, и добыл ту самую «Россияду» и «Книгу эмблем». «В нашей комнате стояли запыленные шкафы домашней работы черной краски со стеклянными дверцами, – писал Тургенев, – там хранились груды книг 1770-х годов, в темно-бурых переплетах, кверху ногами, боком, плашмя, связанных бечевками, покрытых пылью и вонявших мышами. Мне было лет 8 или 9. Я сговорился с одним из наших людей, молодым человеком, даже стихоплетом, порыться в заветных шкафах. Дело было ночью; мы взломали замок, и я, став на его плечи, исцарапавши себе руки до крови, достал две громады: одну он тотчас унес к себе – а я другую спрятал под лестницу и с биением сердца ожидал утра. На мою долю досталась «Книга эмблем» тиснения 1780-х годов, претолстейшая: на каждой странице были нарисованы 6 эмблем, а напротив изъяснения на четырех языках. Целый день я перелистывал мою книжищу и лег спать с целым миром смутных образов в голове. Я позабыл многие эмблемы; помню, например: «Рыкающий лев» – знаменует великую силу; «Арап, едущий на единороге» – знаменует коварный умысел и прочее. Досталось же мне ночью! единороги, арапы, цари, солнцы, пирамиды, мечи, змеи вихрем крутились в моей бедной головушке; я сам попадал в эмблемы, сам «знаменовал» – освещался солнцем, повергался в мрак, сидел на дереве, сидел в яме, сидел в облаках, сидел на колокольне и со всем моим сидением, лежанием, беганием и стоянием чуть не схватил горячки. Человек пришел меня будить, а я чуть-чуть его не спросил: «Ты что за эмблема?»

Похищение осталось нераскрытым, но это не спасло Серебрякова. За какую-то провинность его забрили в солдаты и Ванечка навсегда простился с ним.

Варвара Петровна Тургенева (Лутовинова) – мать писателя. Неизвестный художник. 1810-е гг.

«Мне нечем помянуть моего детства. Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк – одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розог; когда я отважился спросить, за что меня наказали, мать категорически заявляла: «Тебе об этом лучше знать, догадайся».

Из воспоминаний Ивана Сергеевича Тургенева

Не желала Варвара Петровна учить сыновей и музыке, считая это занятие не мужским. Позже Тургенев часто об этом жалел. Впрочем, бывали у них и короткие минуты душевной близости, может быть именно из-за них Варвара Петровна так любила Ванечку, с таким

трудом отпускала его от себя. Оба любили птиц. Варвара Петровна писала сыну из Спасского: «У меня по комнатам, – сообщала Варвара Петровна сыну, – в память тебя птицы-синицы… и попевают, и разбойничают. – А сверх того у меня канарейка, а в птичнике снегирь и чижи, щеглы, овсянки и зяблики. Чижи поют, щеглы забиячут, а снегирь ворчит». И в другом письме: «голуби – стук-стук в окно… гуль… гуль… ворку… ворку… Егорка, новый лакей, губошлеп, несет корм и мешок, голуби летят на него и, наконец, на крыльцо, на балконе дерутся, сердятся, ссорятся, а звонок бьет 12 часов…»

* * *

Отец отстранился от управления имениями, от воспитания детей. «Раз – всего только раз! – он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал»… – вспоминал Тургенев.

В первые годы брака они с Варварой Петровной еще как-то пытались ужиться вместе, понять друга. Сергей Иванович повез молодую жену с семилетним Николаем и пятилетним Ванчекой в Европу, образовывать. Они посетили Берлин, Дрезден, Карлсбад, Аугсбург, Берн, Базель, Париж, Страсбург, Карлсруэ, Нюренберг, Прагу, Вену… Но везде Сергею Николаевичу попадались другие женщины – более молодые, более красивые.

В конце концов Варвара Петровна утомилась ревностью и… завела роман с семейным врачом Андреем Евстафьевичем Берсом. Родившейся от него дочери дала свое имя, назвав Варварой Петровной Богданович-Лутовиновой и поселив у себя в качестве воспитанницы. Андрей Евстафьевич дочь признавать отказался, позже вступил в законный брак, и его старшая дочь Софья стала женой Льва Толстого. Оба писателя подшучивали над своим своеобразным родством.

Ходили слухи, что единутробным братом Ивана Сергеевича Тургенева был и мальчик, воспитывающийся во Франции – Луи Поме. Так это или нет, но Иван Сергеевич и Поме встречались и переписывались, и стали хорошими друзьями.

* * *

В 1827 году Тургеневы переехали в Москву, сняли одну из московских городских усадеб на Самотеке (район Москвы, получивший свое название от близь расположенного Самотечного пруда, через который протекала река Неглинная, в верховьях называвшаяся – Самотекой).

Впрочем, родители долго в Москве не задержались, сдав сыновей в частный пансион, уехали за границу, на воды, лечить почечнокаменную болезнь, которая развилась у Сергея Николаевича. Сыновья обязаны были писать им письма в форме «журналов» – подробных отчетов за каждый прожитый день. Закончив пансион, Тургенев поступил на факультет словесности Московского университета, позже перевелся в Санкт-Петербург, где сдружился с Тимофеем Николаевичем Грановским – будущим великим историком. Дважды мельком видел Пушкина – один раз на квартире профессора Плетнева, второй – на утреннем концерте у Энгельгарта, за несколько дней до роковой дуэли.

Лечение на курортах не помогло Сергею Николаевичу, он скончался в 1834 году. Осенью 1837 года Иван Сергеевич уехал заканчивать учебу в Берлин, где попал в среду частично русских, частично немецких студентов «веселых, честных, трезвых» восхищенных чудесами природы и сокровищами человеческой мудрости. «В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии», – позже будет вспоминать он в «Рудине».

Варвара Петровна переживала разлуку, заклинала сына: «Что мне твой подарок дорогой? Дорого внимание. Цветочные семена в первой семенной лавке – листочки и семечки все твои берегутся. Но! – тебе и это стало в тягость, и два письма я не получаю этого условленного гостинца. Что такое за важность – берлинское изделие, узорчик по канве, ленточка, колечко, – которое бы 1000 раз целовала. Но!.. Ты на это ни в отца, ни в мать, ни в брата. Отец не едал сладко, чтобы лишнюю ленточку и чепчик прислать или привезти».

Потом корила: «Ты эгоист из всех эгоистов… Ты умеешь ценить внимательность, но! – не подумаешь, как она приятна матери… А ты будешь со временем муж, отец. О! Нет! – пророчу тебе, – ты не будешь любим женою. Ты не умеешь любить, т. е. ты будешь горячо любить не жену, т. е. не женщину, – а свое удовольствие».

Потом грозила: «Не затейся знакомства свести с актрисами в Берлине. Помни, что имение твоего отца не дает тебе на уплату в казну доходу. А я при первом твоем долге публикую, даю тебе мое честное слово, публикую в газетах, что имение у вас не отцово и что я за вас долгов платить не буду. Это не сделает тебе чести, конечно. Но! – по крайней мере, с меня за твои долги взыскивать не будут».

Потом принялась шантажировать уже чужими страданиями: «Три недели я не получала от тебя писем, mon cher Jean. Слава Богу, что не получала оттого, что ты не писал! Теперь буду покойна. Повторяю мой господский деспотический приказ. Ты можешь и не писать. Ты можешь пропускать просто почты, – но! – ты должен сказать Порфирию – я нынешнюю почту не пишу к мамаше. Тогда Порфирий берет бумагу и перо. И пишет мне коротко и ясно, – Иван С., де, здоров, – боле мне не нужно, я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно снисходительно. Но! – ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку высеку: жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький мальчик… Что делать, бедный мальчик будет терпеть… Смотри же, не доведи меня до такой несправедливости»… Тургенев слишком хорошо ее знал, чтобы не воспринять ее угрозы всерьез.

* * *

В 1839 году она срочно вызвала Ивана в Россию – в Спасском случился пожар, сгорела большая часть дома, остался один флигель. Повидавшись с сыном, Варвара Петровна вновь отправила его за границу, дав денег на путешествие в Италию.

Искусство итальянского Ренессанса потрясло Тургенева, он писал Грановскому: «Со мною случилось то же, что с бедным человеком, получившим огромное наследство… Целый мир, мне не знакомый, мир художества – хлынул мне в душу… Скажу Вам на ухо: до моего путешествия в Италию мрамор статуи был для меня только что мрамор, и я никогда не мог понять всю тайную прелесть живописи». Не меньшее впечатление на него произвели археологические раскопки в Помпеях. Он побывал в Неаполе, в Генуе, на Сардинии.

Вернувшись в Берлин, он познакомился с Михаилом Александровичем Бакуниным – молодым философом-анархистом, будущим революционером, участником Пражского народного восстания 1848 года. Бакунин отсидит три года в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (с 1851 по 1854 год), затем его переведут в Шлиссельбургскую крепость (с 1854 по 1857 год), а позже сошлют в Сибирь. Оттуда он сбежит, уедет в Лондон, будет сотрудничать с Герценом в издании «Колокола» и критиковать Карла Маркса, но переведет на русский «Манифест коммунистический партии» и образует собственную организацию – «Международный союз за демократический социализм». Он умрет в 1876 году в Берне, в Швейцарии, в больнице для чернорабочих. Но все это – в будущем. А пока Бакунин приглашает Тургенева погостить в его имении Премухино, когда они оба вернутся в Россию. И пишет сестрам: «Примите его как друга и брата, потому что в продолжение этого времени он был для нас и тем и другим и, я уверен, никогда не перестанет им быть… Он вам много,

много будет рассказывать об нас и хорошего и дурного, и печального и смешного. К тому же он – мастер рассказывать, – не так, как я, – и потому вам будет весело и тепло с ним. Я знаю, вы его полюбите».

* * *

В 1841 году Тургенев вернулся в Спасское-Лутовиново, Варвара Петровна уже отстроилась. И дом, может не такой большой и просторный, как раньше, но все же удобный и поместительный, ждал молодого барина. Тургенев поселился во флигеле и быстро сдружился с Варварой-младшей, которую в доме звали Биби. Вместе они совершали «хищнические набеги», правда, уже не на библиотеку, а на бакалейный шкаф, где хранились всякие лакомства и который содержал в порядке специально поставленный слуга – скупой до чрезвычайности.

«Со словами «пойдем грабить», – вспоминала Варенька, – отправлялись мы с ним к шкафу. Иван Сергеевич даже иногда при этом принимал свирепый вид, шел необыкновенно крупными шагами, причем я, держась за его руку, едва поспевала бегом за ним. Так и предстанем мы, бывало, перед лицом спасского Гарпагона.

– Отопри! – скажет Иван Сергеевич.

Ему, как большому и как коренному барину, шкаф отворялся настежь, и он полновластно распоряжался в нем».

Но не только сласти из бакалейного шкафа влекли Ивана Сергеевича. Он влюбился в наемную белошвейку Авдотью Ермолаевну Иванову, та не смела ему возразить. О том узнала Варвара Петровна и принялась корить сына, тот в раздражении ответил, что готов хоть сейчас жениться. Варвара Петровна испугалась, пригрозила выпороть, как в детстве. Иван сбежал, а мать кричала ему вслед: «Стой, мошенник! Стой! Прокляну! Лишу благословения и наследства!»

* * *

Очень смущенный, не знающий, куда податься, Иван вспомнил о приглашении в Премухино. С премухинскими барышнями его сближали не только радость воспоминаний о Мишеле (так звали Бакунина дома). Было и общее горе. Незадолго перед этим в Италии неожиданно умер совсем еще молодой друг Тургенева Николай Владимирович Станкевич. Вместе они поехали за границу, вместе были в Риме, и Иван Серегеевич ночью, прогуливаясь по Аппиевой дороге, напугал приятеля, неожиданно позвав: «Божественный Гай Юлий Цезарь!» – и странно, зловеще откликнулось эхо. Утром приятели посмеялись над ночными страхами и расстались. Тургенев отправился в Рим, Станкевич – на озеро Комо, где и умер от чахотки на руках у старшей сестры Бакунина Варвары. «Он был нашим благодетелем, нашим учителем, братом нам всем, каждый из нас ему чем-нибудь обязан. Он был мне больше, чем брат. Десять братьев не заменят одного Станкевича… Как вам сказать, что я потерял вместе с ним. Это половина меня, лучшая, самая благородная моя часть, сошедшая в могилу» – так писал о нем Т. Н. Грановский.

Николай Владимирович Станкевич (1813 – 1840 гг.) – русский писатель, поэт, публицист, друг писателя

А позже в Премухино от той же чахотки и от тоски скончалась невеста Станкевича – Люба, младшая сестра Бакунина. Варвара и третья сестра Татьяна оплакивали ее, горе Тургнева было еще свежо, а кругом цвело щедрое российское лето. Исцеляло раны, взывало к жизни.

В ночь летнюю, когда, тревожной грусти полный,

От милого лица волос густые волны
Заботливой рукой
Я отводил – и ты, мой друг, с улыбкой томной
К окошку прислонясь, глядела в сад огромный,
И темный и немой…

В окно раскрытое спокойными струями
Вливался свежий мрак и замирал над нами,
И песни соловья
Гремели жалобно в тени густой, душистой,
И ветер лепетал над речкой серебристой…
Покоились поля.

Ночному холоду предав и грудь и руки,
Ты долго слушала рыдающие звуки —
И ты сказала мне,
К таинственным звездам поднявши взор унылый:
«Не быть нам никогда с тобой, о друг мой милый,
Блаженными вполне!

Я отвечать хотел, но, странно замирая,
Погасла речь моя… томительно-немая
Настала тишина…
В больших твоих глазах слеза затрепетала,
А голову твою печально лобызала
Холодная луна.

Иван и Татьяна влюбились друг в друга. Это был союз умов, союз душ, настоящая первая любовь, пришедшая к Тургеневу только сейчас, когда так много уже было испорчено, опорочено, смято. Татьяна первая видит в нем будущего великого писателя, хотя Тургенев еще толком ничего не написал, видит его талант, его потенциал. Почти все стихи Тургенева, стихи романтические и по-хорошему беспомощные, искренние посвящены этой девушке и этому лету. Он навсегда сохранил память о Татьяне, все «тургеневские девушки», все лучшие его героини имеют ее черточки. И все его герои оказываются недостойны своих подруг.

Эту любовь он называл «горьким премухинским романом», «романом без весны». И правда, летом 1841 года они еще гуляют по премыхинским полям, наслаждаясь коротким и тревожным счастьем.

Дай мне руку – и пойдем мы в поле,
Друг души задумчивой моей…
Наша жизнь сегодня в нашей воле —
Дорожишь ты жизнию своей?
Если нет, мы этот день погубим,
Этот день мы вычеркнем шутя.
Все, о чем томились мы, что любим,
Позабудем до другого дня…
Пусть над жизнью пестрой и тревожной
Этот день, не возвращаясь вновь,
Пролетит, как над толпой безбожной

Детская, смиренная любовь…
Светлый пар клубится над рекою,
И заря торжественно зажглась.
Ах, сойтись хотел бы я с тобою,
Как сошлись с тобой мы в первый раз.
«Но к чему, не снова ли былое
Повторять?» – мне отвечаешь ты.
Позабудь все тяжкое, все злое,
Позабудь, что расставались мы.
Верь: смущен и тронут я глубоко,
И к тебе стремится вся душа
Жадно так, как никогда потока
В озеро не просится волна…
Посмотри… как небо дивно блещет,
Наглядись, а там кругом взгляни
Ничего напрасно не трепещет,
Благодать покоя и любви…
И в себе присутствие святыни
Признаю, хоть недостоин ей.
Нет стыда, ни страха, ни гордыни,
Даже грусти нет в душе моей…
О, пойдем – и будем ли безмолвны,
Говорить ли станем мы с тобой,
Зашумят ли страсти, словно волны;
Иль уснут, как тучи под луной, —
Знаю я, великие мгновенья,
Вечные с тобой мы проживем.
Этот день, быть может, день спасенья,
Может быть, друг друга мы поймем.

А в марте 1842 г. приходит отрезвление. Татьяна – не Авдотья Еромолаевна, быть с ней вместе без брака невозможно, а Варвара Петровна, на иждивении которой до сих пор находятся братья, не одобрит такой невесты.

«Вчера я ничего не могла вам сказать – ничего, Тургенев, – но разве вы знали, что было у меня на душе – нет, я бы не пережила этих дней – если б не оставалась мне смутная надежда – еще раз, боже мой – хоть раз еще один увидеть вас… – пишет Татьяна в марте 1842 года. – О, подите, расскажите кому хотите, что я люблю вас, что я унизилась до того, что сама принесла и бросила к ногам вашим мою непрошенную – мою ненужную любовь – и пусть забросают меня каменьями, поверьте – я вынесла бы все без смущения… Если б я могла окружить вас всем, что жизнь заключает в себе прекрасного – святого, великого – если б я могла умолить бога – дать вам все радости – все счастье – мне кажется – я бы позабыла тогда требовать для самой себя – но когда-нибудь – я верю – вы будете счастливы – как я хочу – тогда, Тургенев, вспомните – что я бы радовалась за вас – о, я стала бы так радоваться, как мать радуется за сына – потому что чувствую в душе моей глубокую – всю беспредельную, всю слепую нежность матери, все ее святое самоотречение. Тургенев, если б вы знали, как я вас люблю, вы бы не имели ни одного из этих сомнений, которые оскорбляют меня – вы бы верили, что я не забочусь об себе – хотя я часто предаюсь всей беспредельной грусти моей – хоть я хочу, хоть я решилась – умереть – но если б я не хотела – разве воля моя могла

изменить что-нибудь – мой приговор давно произнесен, и я только с радостью покоряюсь ему – ропот – борьба; но к чему она послужила бы – и я так устала бороться, что могу только молча ждать свершения божьей воли надо мной – пусть же будет, что будет!

Вы давать еще не можете, вы – как ребенок, в котором много скрыто зародышей и прекрасного и худого, но ни то ни другое не развилось еще, а потому можно только надеяться или бояться! Но я не хочу бояться, а только верить. Нет! Вы не погубите ни одной способности, данной вам. В вас разовьется все богатство, той божественной жизни, вы будете человеком – когда? Этого нельзя определить…

Иногда все во мне бунтует против вас. И я разорвать эту связь, которая бы должна была унижать меня в моих собственных глазах. Я готова ненавидеть власть, которой я как будто невольно покорилась. Но один глубокий внутренний взгляд на вас смиряет меня; не могу не верить в вас… С тех пор как люблю, нет теперь ни гордости, ни самолюбия, ни страху. Я предалась судьбе моей.

Если бы вы меня спросили, для чего я вам не сумела ответить, так как сама не знаю – я огорчена и беспокоюсь, ничего не зная о вас. Быть может вы больны, может быть страдаете, и мы ничего не знаем, и я не могу помочь вам. Господи, зачем вы так удаляетесь! Не я ли причина этого внезапного отчуждения? Но отчего? Чему приписать это? Если и нет более страсти во мне, то все же осталась та же привязанность, та же нежность, и если когда-нибудь вы будете нуждаться в этом, вспомните, Тургенев, что есть душа на свете, которая лишь ждет вашего зова, чтобы отдать вам все свои силы, всю любовь, всю преданность… Я могла бы без страха предложить вам самую чистую привязанность сестры, – она вас более не волновала бы, как волновали когда-то те странные отношения, которые я необдуманно вызвала между нами – она не лишила бы вас свободы и никогда не стала бы гнетом для вас».

Тургенев отвечает ей из дома на Остоженке, где теперь живет вместе с матерью[2].

«Мне невозможно оставить Москву, Татьяна Александровна, не сказавши Вам задушевного слова. Мы так разошлись и так чужды стали друг другу, что я (далее зачеркнуто) не знаю, поймете ли Вы причину, заставившую меня взять перо в руки… Вы можете, пожалуй, подумать, что я пишу к Вам из приличья… все, все это и еще худшее я заслужил…

Но я бы не так, хотя на время, хотел расстаться с Вами. Дайте мне Вашу руку и, если можете, позабудьте все тяжелое, все половинчатое прошедшего. Вся душа моя преисполнена глубокой грусти, и мне гадко и страшно оглянуться назад: я все хочу забыть, все, исключая Вашего взгляда, который я теперь так живо, так ясно вижу… Мне кажется, в Вашем взгляде нахожу я и прощение и примирение… Боже мой! Как грустно мне и как чудно – как бы я хотел плакать и прижать Вашу руку к моим губам и сказать Вам все – все, что теперь так тревожно толпится в душе…

Я иногда думал, что я с Вами расстался совсем: но стоило мне только вообразить, что Вас нет, что Вы умерли… какая глубокая тоска мной овладевала – и не одна тоска по Вашей смерти, но и о том, что Вы умерли, не зная меня, не услышав от меня одного искреннего, истинного слова, такого слова, которое и меня бы просветило, дало бы мне возможность понять ту странную связь, глубокую, сросшуюся со всем моим существом – связь между мною и Вами… Не улыбайтесь недоверчиво и печально… Я чувствую, что я говорю истину и мне не к чему лгать.

[2] Варвара Петровна жила на Остоженке в доме, где сейчас находится музей И.С. Тургенева (современный адрес: ул. Остоженка, д. 37).

Татьяна Бакунина, которой Иван Тургенев посвятил несколько стихотворений. Портрет работы Евдокии Бакуниной. 1850-е гг.

И чувствую, что я не навсегда расстаюсь с Вами… Я Вас увижу опять… моя добрая, прекрасная сестра. Мы теперь жили, как старики – или, пожалуй, как дети – жизнь ускользала у нас из рук – и мы глядели за ней, как глядели бы дети, которым нечего еще жалеть, у которых еще много впереди – или, как старики, которым уже и не жалко жизни… Точно привидения во 2-м акте «Роберта-Дьявола», которые и пляшут и улыбаются, а знают, что стоит им кивнуть головой – и молодое тело слетит с их костей, как изношенное платье… В доме Вашей тетушки так тесно, так холодно, так мрачно… и Вы, бедная – век с ними…

Я стою перед Вами и крепко, крепко жму Вашу руку… Я бы хотел влить в Вас и надежду, и силу, и радость… Послушайте – клянусь Вам богом: я говорю истину – я говорю, что думаю, что знаю: я никогда ни одной женщины не любил более Вас – хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью… я оттого с Вами не мог быть веселым и разговорчивым, как с другими, потому что я любил Вас больше других; я так – зато – всегда уверен, что Вы, Вы одна меня поймете: для Вас одних я хотел бы быть поэтом, для Вас, с которой моя душа каким-то невыразимо чудным образом связана, так что мне почти Вас не нужно видеть, что я не чувствую нужды с Вами говорить – оттого что не могу говорить, как бы хотелось – и, несмотря на это – никогда, в часы творчества и блаженства уединенного и глубокого, Вы меня не покидаете; Вам я читаю, что выльется из-под пера моего – Вам, моя прекрасная сестра… О, если б мог я хоть раз пойти с Вами весенним утром вдвоем по длинной-длинной липовой аллее – держать Вашу руку в руках моих и чувствовать, как наши души сливаются и все чужое, все больное исчезает, все коварное тает – и навек. Да, Вы владеете всею любовью моей души, и, если б я бы мог сам себя высказать – перед Вами – мы бы не находились в таком тяжелом положении… и я бы знал, как я Вас люблю.

Посмотрите, как постоянно Вы со мною во всех моих лучших мгновениях: вот Вам песнь Серафины из «Д. Жуана» (когда-нибудь Вам расскажу… да Вы сами поймете). Вы, я знаю, не подумаете, что Серафина – Вы, а тот, кому она это говорит, – я: это было бы слишком смешно и глупо; но мое отношение к Вам»…

Самые сокровенные слова он не решается сказать по-русски и переходит на немецкий язык.

«Ihre Gestalt, Ihr Wesen ist immer in mir lebendig, verandert sich und wachst und nimmt neue Gestalte an, wie ein Proteus: Sie sind meine Muse; so hat sich zum B., die Gestalt der Seraphine aus dem Gedanken an Sie entwickelt und auch die der Inez, der Donna Anna vielleicht – was sag' Ich vielleicht – alles, was Ich denke und erfinde, ist auf eine wunderbare Weise mit Ihnen verkniipft.

Leben Sie wohl, meine Schwester; geben Sie mir Ihren Segen auf die Reise – und bauen Sie auf mich – bis jetzt noch – wie auf einen stummen Felsen, demaber im innersten steinernen Herzen wahre Liebe und Ruhrung verschlossen ruht.

Leben Sie wohl; Ich bin tief geriihrt und erschuttert – leben Sie wohl, meine beste, einzige Freundin. – Auf Wiedersehen. Turgeneff»[3].

Возможно, эти строки напомнили вам коллизию «Евгения Онегина». Татьяна, несомненно, достойна называться этим именем. Но Тургенев вовсе не Онегин, не лишний человек, внутренняя жизнь которого была составлена из скуки и желчной иронии. В одном Татьяна была права: Тургенев еще не был до конца собой, он созрел, не раскрылся ни как писатель, ни как человек, он еще боялся любить, творить, обнажая свое сердце. Этот путь ему еще предстоял.

[3] Ваш образ, Ваше существо всегда живы во мне, изменяются и растут и принимают новые образы, как Протей: Вы моя Муза; так, например, образ Серафины развился из мысли о Вас, так же как и образ Инессы и, может быть, донны Анны, – что я говорю «может быть» – все, что я думаю и создаю, чудесным образом связано с Вами.Прощайте, сестра моя; дайте мне свое благословение на дорогу – и рассчитывайте на меня – покамест – как на скалу, хотя еще немую, но в которой замкнуты в самой глубине каменного сердца истинная любовь и растроганность.Прощайте, я глубоко взволнован и растроган – прощайте, моя лучшая, единственная подруга.До свидания.*Тургенев (нем.)*

# Часть вторая. Певица

Девочку разбудили странные звуки. Довольно высокие, где-то во второй октаве, протяжные, и в то же время объемные, наполненные. Во сне они казались ей матовыми трубочками стекляруса, которые покачивались на ветру, но не звенели, а словно гудели. Девочка думала, что знает о звуках все, но таких прежде никогда не слышала.

Она открыла глаза. Уже совсем рассвело. Девочка соскользнула с постели и по толстому яркому ковру, нити которого приятно щекотали ноги, а потом по теплому, не остывшему за ночь глиняному полу подбежала к окну. Сначала не увидела никого, но потом задрала голову и разглядела сидящую на ветке раскидистого дерева, в темной зелени листвы птицу.

Это была голубка, горлица, но какая-то необыкновенная! Легкая, стройная, невесомая. Нежно лиловые перья, матовые, будто присыпанные пудрой, подведенные синевой глаза. Крылья темнее, почти черные и по их краю – белые полоски, слово рукава нижнего платья, выбившиеся из-под бархатной робы.

Полина сразу решила, что это именно голубка, и она поет, призывая возлюбленного. Большая часть арий, которые исполняла ее мать, были об этом. И девочка узнала томную тоску в голосе птицы. «Приди! О, приди! Ты далеко, и я тоскую! О, будь со мной!»

Новый звук спугнул певицу. Проходивший мимо дома пастух в пончо из некрашеной шерсти и в валяной из войлока шапке заиграл на своей гнусавой дудке. Ему ответили блеянием овцы. Горлица взглянула вниз на пастуха презрительно – как он посмел оскорбить ее слух своей какофонией, вспорхнула с ветки и рывками стремительно унеслась в синеву.

* * *

Полина Гарсиа-Виардо родилась в Париже 18 июля 1821 года. Ее отец Мануэль дель Пополо-Висента-Родригес Гарисиа – выходец из цыганского квартала Севильи, был театральным тенором, «богом-тенором», как звали его поклонники. Он также сочинял музыку и с успехом ставил на сцене собственные оперы. Мать Хоакина Сичес, урожденная Брионес, как писали газеты «служила украшением мадридской сцены» и писала либретто для опер мужа. Несколько наиболее удачных песен, сочиненных супругами Гарсиа «ушли со сцены в народ». На парижских улицах пели «Я – контрабандист» (арию из комической оперы Гасиа «Расчетливый поэт»), «Кораблик», «Рикирики». Старшая сестра Мария Феличиата уже училась музыке. Брат Мануэль, преподававший пение, уже обзавелся собственной семьей, женившись на певице Евгении Майер.

Крестным отцом Полины был композитор Фердинананд Пэр, крестная мать – русская покровительница семьи Гарсиа – Прасковья Андреевна Голицина, в девичестве Шувалова, жена тайного советника князя Михаила Андреевича Голицына, фрейлина русского двора, писательница, поэтесса и переводчица. Она дружила с Пушкиным, перевела на французский несколько глав из «Евгения Онегина», и как вспоминает Вяземский: «Она очень забавно говорила Пушкину о его Онегине и заклинала его не выдавать замуж Татьяну за другого, а разве за Евгения, и входила в эти семейные дела со всем жаром и нежною заботливостью доброй родственницы». В ее честь Полина получила свое, такое неиспанское, имя.

Полина Мишель Фердинанд Гарсиа-Виардо. Художник Тимофей Нефф. 1842 г.

Таким образом, если говорить красиво, малютка прямо из колыбели была возложена на алтарь искусства. Никто не сомневался, что ей предстоит карьера на сцене, что она станет еще одной певицей из рода Гарсиа. Но это был тот редкий случай, когда семейный сценарий совпадал с личными склонностями и устремлениями. Полина не мыслила себя без музыки. «Я не помню времени, когда бы ее не знала», – говорила она, уже будучи взрослой. Трех лет от роду девочка уже выучилась читать ноты.

* * *

Полина почти не знала родного дома. Большая часть ее детства прошла в гастролях. Уже в 1825 году Гарсиа отправились на итальянский оперный сезон в Англию, где Мария

дебютировала в уже прославленной опере «Севильский цирюльник» «восходящей звезды» – композитора Россини. Она пела главную героиню оперы – Розину.

Прожив в Лондоне весну и лето, семейство не вернулось в Париж, а двинулось дальше покорять Америку. Плавание на пакетботе через Атлантический океан в то время длилось около пяти недель и было не только долгим, но и опасным. Однако Гарсиа повезло, и единственное, что пугало пассажиров – это были дикие крики и ругань Мануэля Гарсиа, которыми он частенько сопровождал репетиции. Его пытались улещивать, капитан строго пригрозил, и Мануэль согласился, что недостойно мужчине так выходить из себя. Но как только доходило до музыки, испанский темперамент брал свое…

Четырехлетняя Полина – резвая, живая, носилась по всему кораблю, болтая на четырех языках. Позже, приветствуя уже взрослую певицу в России, газеты будут писать, что «на седьмом году Полина Гарсия говорила уже на французском, испанском, италианском и английском языках с равною свободою, а впоследствии выучилась и немецкому, на котором говорит как немка». Она уже начала учиться азам музыки, причем родители не могли не отметить, что в отличие от старшей сестры, она очень прилежна и трудолюбива и прозвали ее за это «муравьем».

* * *

Они прибыли в Нью-Йорк в начале ноября. А в конце месяца открыли сезон все тем же «Севильским цирюльником». Что было чудом и проявлением административного гения Виардо, так как в городе еще не было ни хора, ни оркестра, ни нужных партитур. Приходилось добывать, договариваться, импровизировать. Полину уже выпускали на сцену в ролях маленьких детей. Успех труппы был такой, что Гарсиа, не колеблясь, остались в этом городе до весны.

В марте Мария Феличиата вышла замуж за пожилого французского торговца Малибрана. Расчет Мануэля оказался неверным. Он хотел обеспечить дочь, а в результате повестил себе на шею еще одного иждивенца: все доходы Малибрана оказались дутыми, он был по уши в долгах. Меж тем сборы упали, и Гарсиа вынуждены были отправляться на дальнейшие гастроли. Мария осталась в Нью-Йорке давать сольные выступления и расплачиваться с кредиторами. Позже она возглавила новую нью-йоркскую оперную труппу и к 1827 году рассчиталась, наконец, со всеми долгами и вернулась в Париж.

Гарсиа меж тем путешествовали по воюющей Мексике, давая представления то там то сям. В 1828 году они решили вернуться в Европу и направились из Мехико в портовый город Веракрус. Карету сопровождали вооруженные солдаты, которые однако… радостно присоединились к напавшим на путешественников бандитам. Оказалось, что этот трюк у них давно отработан. Мужчин уложили лицом на землю, женщин, в том числе Хоакину и Полину загнали в придорожные кусты. У девочки зуб на зуб не попадал от страха. К счастью обошлось без убийств: путешественников только ограбили – разом лишив Гарсиа всех заработанных за три года денег. Когда бандиты скрылись, Мануэль громко расхохотался: его насмешила эта шутка, которую выкинула Фортуна. Его смех был так заразителен, что к нему присоединились все пассажиры.

* * *

С великим трудом собрав деньги на билеты, Гарсиа отплыли во Францию.

В 1829 году начавший терять голос Мануэль открыл курсы пения. Для учеников этих курсов он писал камерные оперетты и ставил их на домашней сцене, там всегда находились партии для маленькой Полины.

В том же году Полина начала изучать гармонию и теорию композиции. Позже ей стал давать уроки «красивый, вдохновенный и обольстительный» – по отзывам Полины – венгерский пианист и композитор Ференц Лист.

Под его влиянием Полина хотела стать пианисткой, но сформировавшийся в подростковом возрасте голос показал всем, что она может быть выдающейся певицей. Уроки пения давала ей мать, и Полина легко усвоила «семейную методу» – особый, присущий Гарсиа стиль пения.

Мария Малибран, также вернувшаяся в Париж, сошлась с бельгийским скрипачом Шарлем Берио. В 1835 году ей удалось развестись с Малибраном и выйти замуж за Шарля. Но еще до этого, в 1832 году умер Мануэль, и Мария увезла семейство в Брюссель, где у нее был собственный дом.

Только семья стала оправляться от потери ее главы – как случилась новая страшная утрата.

23 сентября 1836 года в Манчестере на гастролях погибла, упав с лошади, Мария. Безутешный Берио взял покровительство над Полиной, пригласил ее участвовать в своих концертах, потом повез на гастроли по Германии, где Полина, в частности, познакомилась с прославленной, выдающейся пианисткой и композитором Кларой Вик. Сама Полина в то время писала аккомпанементы к скрипичным пьесам Берио, но на более серьезное творчество еще не решалась.

* * *

В конце 1838 года Полина с матерью вернулась в Париж к Мануэлю-младшему. Первые концерты Полина давала снова с Берио и удостоилась похвальных рецензий и стихов Альфреда де Мюссе. Известный писатель, автор «Исповеди сына века» был также заядлым театралом и театральным критиком. Поклонник таланта Марии Малибран – он посвятил ее смерти скорбную элегию, теперь же приветствовал ее младшую сестру и писал, что «она поет, как дышит… она слушает не свой голос, но сердце»…

Генрих Гейне, побывавший на одном их этих концертов, оставил такое описание: «Она больше напоминает нам грозное великолепие джунглей, чем цивилизованную красоту и прирученную грацию нашего европейского мира. – В момент ее страстного выступления, особенно, когда она открывает свой большой рот с ослепительно белыми зубами и улыбается с жестокой сладостью и милым рычанием, никто бы не удивился, если бы вдруг жираф, леопард или даже стадо слонят появились на сцене».

Дебют Полины на театральной сцене состоялся 9 мая 1839 года в «Театре королевы» в Лондоне. Она пела Дездемону в опере Россини Отелло. Партию Отелло исполнял прославленный певец, итальянец Джованни Баттиста Рубини, позже немало помогший Виардо в ее карьере.

Российская газета «Северная пчела» писала, что юная дебютантка «была принята с рукоплесканиями и вызвана в продолжение вечера два раза…Сначала она, казалось, робела и голос ее при высоких нотах дрожал; но вскоре узнали се необыкновенные музыкальные дарования, которые делают ее достойным членом семьи Гарсиа, известной в истории музыки с XVI столетия. Правда, ее голос не мог наполнить огромной залы, но надобно знать, что певица еще очень молода; ей только семнадцать лет. В игре драматической она показала себя сестрой Малибран: она обнаружила силу, которую может иметь только истинный гений!»

Кто знает, может быть, эту рецензию читал и Тургенев, даже не догадывающийся, какую роль талантливой певице суждено будет сыграть в его жизни.

Свободно говорившая по-английски Полина пришлась по нраву лондонцам. Королева Виктория слушала ее в Букингемском дворце, после чего приглашения посыпались на певицу дождем. Одно из самых важных поступило от француза: на ее дебюте присутствовал один из директоров «Итальянского театра» в Париже, юрист по образованию, журналист по призванию Луи Виардо. Он не мог не увидеть таланта и потенциала Полины и осенью 1839 года ангажировал ее в свою труппу.

7 октября 1839 года Полина снова пела Дездемону в помещении театра «Одеон», где в то время проходили постановки «Итальянского театра».

Теофиль Готье – еще один замечательный французский писатель, всерьез увлеченный театром, в своей рецензии назвал Полину «звездой первой величины, звездой о семи лучах», владеющей «одним из самых великолепных инструментов, какие только можно услышать» (он имел в виду голос Полины).

Кроме того, Полина обладала природным артистизмом, – если композитору Беллини приходилось в свое время буквально вдалбливать Рубни необходимость не только петь, но и играть на сцене, вкладывая в пение не только технику, но и чувства, то для Полины это было естественным.

Готье писал, что в роли Золушки в опере того же Россини (спектакль состоялся три недели спустя) Полина отказалась от «театральный поз и телеграфных жестов», которыми обычно сопровождали свое пение другие певицы. «Невозможно быть более резвой, более шаловливой, более покорной, более девочкой и более кошечкой, чем м-ль Гарсиа, – писал Готье. – Она принимает иногда самый восхитительный вид смирения и вместе с тем скрытой насмешки, когда находится со своими сестрами и грубияном-отцом… А в конце, когда она становится принцессой, – что за детская радость, что за добрая улыбка, что за опьянение счастьем».

Иван Сергеевич Тургенев. Юношеский портрет. Художник Кирилл Горбунов. 1838–1839 гг.

9 ноября 1839 года Полина впервые выступила в партии Розины в «Севильском цирюльнике» Россини. В этом спектакле она послала своеобразный музыкальный привет покойной сестре, спев в сцене урока пения вместо вставной арии несколько очень оригинальных романсов, которые прежде исполняла Малибран и веселую испанскую песенку. Театральные критики не оценили этот жест и осыпали Полину упреками за своеволие.

Но все равно она оставалась любимицей публики, выступив в этом сезоне в пяти операх: «Отелло», «Золушке», «Севильском цирюльнике», «Танкреде» Россини и «Дон-Жуане»

Моцарта, и во множестве концертов, на которых она исполняла сочинения Палестрины, Марчелло, Глюка, Шуберта.

Когда она заболевала, дирекция театра предлагала вернуть публике деньги, даже если в спектаклях были заняты другие прославленные певцы.

* * *

Именно в этот период состоялось знакомство восемнадцатилетней Полины с тридцатипятилетней Авророй Дюдеван, печатавшейся под именем Жорж Санд, автором скандальных романов «Индиана», «Валентина», «Лелия», посвященных праву женщины на собственное мнение, на свободу и любовь.

Две женщины близко сдружились. Аврора звала Полину «fifille» – дочечка, Полина называла свою старшую подругу Миньон (по-французски mignon – миленький, славный, крошечный, так же звали чувствительную и артистичную девочку-фантазерку, героиню романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795), которая часто носила мужскую одежду). Познакомилась Полина и с Фредериком Шопеном, бывшим в это время спутником Авроры.

Несколько лет спустя Жорж Санд выпустит свой, возможно самый известный роман «Консуэло», где в образе главной героини выведет свою подругу.

«В ней текла хорошая испанская кровь, – пишет Жорж Санд о Консуэлло, – и происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам… Она была спокойна, как воды лагун, и вместе с тем не менее подвижна, чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности. Так как росла Консуэло быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья, слишком короткие для своего возраста, что придавало этой четырнадцатилетней девочке, привыкшей ходить босиком, особую дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно, и жалко. Была ли у нее маленькая ножка – никто не мог сказать, до того плохо она была обута. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма, но без округлости, без соблазнительности. Бедная девочка об этом и не думала, она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее «обезьяной», «лимоном», «чернушкой». Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие, густые, закинутые за уши волосы и в то же время серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторой мало приятной оригинальности».

Однако дурнушка Консуэло преображается, когда поет:

«Когда раздались первые аккорды оркестра, призывавшие Консуэло занять свое место, она медленно поднялась с колен… Но что за чудесное превращение свершилось с этой юной девушкой, еще за минуту перед тем такой бледной, подавленной, усталой, испуганной! Вокруг ее высокого лба, казалось, реяло небесное сияние; нежная истома была разлита по благородному, спокойному и ясному лицу. В ее безмятежном взгляде не видно было жажды успеха. Во всем ее существе чувствовалось что-то серьезное, глубокое, таинственное, что трогало и внушало уважение…

…Восхитительный румянец залил ее щеки, священный огонь зажегся в больших черных глазах, и под сводами церкви раздался ее неподражаемый голос, чистый, могучий, величественный, – голос, который мог исходить только от существа, обладающего исключительным умом и большим сердцем. После нескольких тактов сладостные слезы хлынули из глаз Марчелло. Граф, не будучи в силах совладать с волнением, воскликнул:

– Клянусь богом, эта женщина прекрасна! Это святая Цецилия, святая Тереза, святая Консуэло! Это олицетворение поэзии, музыки, веры!»

А вот другое описание:

«Литературное утро состоялось. Оно происходило в доме Виардо. Madame Виардо вышла петь. Пела она романс Чайковского:

Нет, только тот, кто знал, как я
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стражду…
Гляжу я вдаль, нет сил, темнеет око…
Ах! кто меня любил и знал, – далеко.

Она была старухой. Но когда она произносила: «Я стражду», меня мороз подирал по коже, мурашки бегали по спине. Столько она вкладывала экспрессии. Ее глаза. Эти бледные впалые щеки… Надо было видеть публику!

И еще стихотворение Фета спела она:

Облаком волнистым
Пыль встает вдали.
Конный или пеший —
Не видать в пыли
Вижу, кто-то скачет,
На лихом коне…
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне.

Последние слова были полны такой еле сдерживаемой страстью, такой глубокой тоской, так звали к себе».

У этих отрывков разные авторы (второй записан по воспоминаниям революционера-народника Германа Лопатина). Разное время написания. «Консуэло» вышла в 1840-х, а Лопатин слушал Виардо в 1880-х на благотворительном концерте в пользу русской библиотеки в Париже. Общее одно – восхищение талантом актрисы, которая заставила публику забыть о ее внешности и покорить своим вдохновенным искусством.

* * *

Аврора как заботливая мать постаралась устроить хороший брак для своей «дочечки». К Полине сватался Мюссе, та сомневалась: это была хорошая партия, лучшая, чем те, на которые могла рассчитывать безродная актриса, иностранка, добывающая средства к существованию собственным трудом. Однако что-то отвращало ее от такого выгодного предложения. Аврора ее поддержала: когда-то Мюссе был ее любовником, и она не только хорошо изучила его характер, но и описала его тщеславие, его капризы, мелочность и эгоизм в романе «Она и он».

Зато Аврора обратила внимание на другого поклонника Полины – Луи Виардо. Состоятелен, умен, прогрессивных взглядов, написал ряд политических статей. Знает не понаслышке быт людей искусства, знает цену таланту Полины, не будет пытаться посадить ее в золотую клетку, отобрать у публики. То, что он гораздо старше, ему – сорок, Полине –

двадцать, не беда. Беда, что, по словам самой Жорж Санд, Виардо был «скучен, как ночной колпак». В герои романа не годился бы. Но в женихи годится прекрасно.

Ход сватовства изобразил отвергнутый поклонник Альбер де Мюссе в 17 сатирических рисунках. Жорж Санд, с папиросой в зубах, уговаривает господ Гарсиа и Полину, Виардо взволнованно следит за ходом переговоров и нос у него, как у Пиноккио, то удлиняется, то укорачивается в зависимости от того, насколько успешно идет дело.

Дело шло успешно: 16 апреля 1840 года Полина и Луи обвенчались. Медовый месяц провели в Италии: в Риме и Неаполе, где Полина познакомилась с Шарлем Гуно. Полина писала Авроре: «Как вы мне и обещали, я нашла в Луи возвышенный ум, глубокую душу и благородный характер».

В 1841 году у супругов Виардо родилась дочь Луиза-Полина, через 11 лет – Клоди, еще через 2 года – Марианна, в 1857 году – сын Поль.

* * *

После родов Полина вернулась на сцену в начале 1842 года. Из-за театральных интриг она не смогла выступать в Париже. Виардо тоже пришлось уйти со своего поста, он отдал все силы политической борьбе, основал газету «Независимое ревю». Тогда Полина уехала в Париж, где нашла по собственным словам «публику невежественную, но смышленую, но симпатичную, одним словом – народ». Осенью она снова вернулась в «Итальянский театр», но поток упреков со стороны театральных критиков продолжался. Готье, прямо не называя ее имя, писал о том, что публика «предпочитает дурнушку без грации и манер, обладающую какой-нибудь замогильной нотой вверху или внизу скалы звуков»… Эти нападки доставили много огорчений Полине и дали Жорж Санд богатый материал для «Консуэло».

Портрет певицы Полины Виардо Гарсия. Художник Карл Брюллов. 1844 г.

В конце концов Луи выступил с открытым письмом в защиту жены, в котором упрекал своих политических противников В том, что они «поражают женщину для того, чтобы поранить мужчину». Упреки справедливые: политические счеты не редко сводили в театре, но это не было отличительной особенностью Парижа. В этом Полина и Луи убедились в Вене, куда уехали весной 1843 года. Венцы хлопали Полине и шикали выступавшей вместе с нею в спектакле итальянской певице, итальянцы – наоборот. Впрочем, музыкальная Вена не могла не быть гостеприимной к талантливой певице, и Полина отдохнула там душой. Кроме того, она снова встретила в Вене Рубини, который только что вернулся из Петербурга, где

его принимали так хорошо, что он уже составлял планы на новые гастроли. Разумеется, он был очень рад такой оказии и пригласил Полину той же осенью присоединиться к нему.

* * *

Первое выступление Полины Виардо на сцене петербургского Большого театра в сезон 1843/44 г. состоялось 22 октября 1843 г. в роли Розины в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник». Следующие – 27 и 29 октября.

«Северная пчела» откликнулась восторженной рецензией. «Бесспорно, – писал автор, – с тех пор как существует в России театр, мы никогда не имели на сцене таких певцов, как Рубини и Тамбурини, и такой примадонны, как г-жа Виардо-Гарция…» Полину называли «волшебницей, очаровавшей нашу душу прелестью своего голоса и силою своего таланта», «нашим соловушкой», «нашей любимицей». Рецензент отмечал, что: «В пении ее мы находим и нежность Зонтаг, и искусство Каталашг, и пылкость Пасты, и единственную гарциевскую методу сестры ее, Малибран. У Виардо-Гарции все ноты грудные, от высочайшего сопрано до низкого контральто, впадающего в бас, все рулады чисты, как жемчуг… Пение г-жи Виардо-Гарция – истинно драматическое, и сколько мы можем судить по роли Розины, она столь же превосходная актриса, как и певица. Чувства в пении ее бездна, и каждая ее нота доходит до сердца… Г-жа Виардо-Гарция небольшого роста и сложена превосходно. В пламенных глазах ее отражается чувство героической Андалузии… Г-жа Виардо-Гарция во время своего пения приобретает необыкновенную прелесть. В ней… не видно никакого усилия, а кажется, будто она облегчает грудь свою, обремененную мелодией и гармонией…»

Поэт и переводчик Н. В. Берг так описывал произведенное Полиной Виардо впечатление: «Сверх необыкновенного голоса и высокой драматической игры эта артистка обладала такими достоинствами, которые даются не многим: она была образованна, как самая высшая аристократка, обладающая большими средствами; говорила на многих языках и отличалась чрезвычайным изяществом приемов. В салонах и на сцене ей прощали все; никто не видел, что она далеко не красавица, худощава, сутула, что черты ее лица чересчур резки. Пройди она по улице тысячу раз мимо самого наблюдательного ловеласа – он бы ее не заметил. А в театре, когда она играла, стоном стонал весь партер; большего сумасшествования и восторгов, казалось, до сих пор не видано. В особенности действовала на зрителей необыкновенная страстность ее игры…

Известно высказывание Рубини, обращенное к ней после одного из спектаклей:

– Не играй так страстно. Умрешь на сцене…»

Полина в письме к Жорж Санд так описывала свои выступления на петербургской сцене: «Вы знаете, что мой успех здесь так велик, как только вы могли бы желать для вашей Консуэло, – но чего вы не знаете, это – что он растет с каждым представлением и что я сама чувствую, какие успехи делаю каждый вечер… Когда я вышла на сцену в прошлый понедельник в «Цирюльнике», аплодисменты были так бурны и так продолжительны, что я несколько минут не могла начать. Я была поистине тронута столь теплым приемом. Я отблагодарила их во втором действии маленьким сюрпризом, от которого чуть не обрушился зал, – я им спела русскую народную песню – по-русски, разумеется. Никогда я не слышала такого шума»[4].

В одном из этих спектаклей Тургенев впервые увидел Полину.

Бывшая на том же спектакле графиня Александра Толстая так описывает игру Виардо в письме к своему родственнику: «Увидеть более совершенное соединение изящества, есте-

[4] Скорее всего, это был «Соловей» Алябьева.

ственности и наивности немыслимо. Впрочем, игра ее полностью соответствует характеру ее национальности – она испанка и по рождению, и по лукавству. Ее несколько резкие жесты не подошли бы, конечно, для Семирамиды, но великолепно подходят к упрямому и шаловливому характеру Розины. В дуэте записки она выказывает столько восхитительной тонкости, столько проказливости. Заметьте, дорогой дядя, что для того, чтоб покорить публику, ей недостает одного мощного средства – красоты, и одним только талантом она повергает всех к своим ногам. Я не могу с той же похвалой отозваться и о ее пении. Мне кажется, что она странным образом злоупотребляет невероятной подвижностью своего голоса. Отсюда – бесконечные украшения и прегрешения против хорошего вкуса, чего никогда не замечаешь у Росси. От них она [Виардо] не исправится, если долго пробудет в России, так как наша глупая публика аплодирует ей как раз в местах, где ей не хватает изящества и простоты. Диапазон ее голоса огромен, это неслыханные верхи и низы – все звучит чрезвычайно приятно, но и тут она стремится нарушить пределы того, чем одарила ее природа, и бросается на высокие ноты, которые ей уже не подвластны и оскорбляют слух. По правде говоря, это только случайности, но случайности, неприятно нарушающие удовольствие, которое получаешь от ее чистого и обработанного голоса. В сцене урока пения она угостила нас прелестным французским романсом, а затем дуэтом вместе с Рубини. В этой пьесе оба они были восхитительны. Я знала этот дуэт, так как сама его пела и смогла, таким образом, только лучше оценить прелесть их исполнения. Когда говорят о г-же Виардо-Гарсиа, нельзя забывать, что это еще не вполне развившийся талант – она очень молода и со временем, я уверена, в конце концов, почувствует, что великим артистом становятся не благодаря преувеличениям и фокусам».

А вот воспоминания самого Тургенева: «Шел «Севильский цирюльник», в котором Виардо исполняла партию Розины. Началась картина первого акта. «Комната в доме Бартоло. Входит Розина: небольшого роста, с довольно крупными чертами лица и большими, глубокими, горячими глазами. Пестрый испанский костюм, высокий андалузский гребень торчит на голове немного вкось. «Некрасива!» – повторил мой сосед сзади. «В самом деле», – подумал я.

Вдруг совершилось что-то необыкновенное! Раздались такие восхитительные бархатные ноты, каких, казалось, никто никогда не слыхивал… По зале мгновенно пробежала электрическая искра… В первую минуту – мертвая тишина, какое-то блаженное оцепенение… но молча прослушать до конца – нет, это было свыше сил! Порывистые «браво! браво!» прерывали певицу на каждом шагу, заглушали ее… Сдержанность, соблюдение театральных условий были невозможны; никто не владел собою. Восторг уже не мог вместиться в огромной массе людей, жадно ловивших каждый звук, каждое дыхание этой волшебницы, завладевшей так внезапно и всецело всеми чувствами и мыслями, воображением молодых и старых, пылких и холодных, музыкантов и профанов, мужчин и женщин… Да! это была волшебница! И уста ее были прелестны! Кто сказал «некрасива»? – Нелепость!

Не успела еще Виардо-Гарсиа кончить свою арию, как плотина прорвалась: хлынула такая могучая волна, разразилась такая буря, каких я не видывал и не слыхивал. Я не мог дать себе отчета: где я? что со мною делается? Помню только, что и сам я, и все кругом меня кричало, хлопало, стучало ногами и стульями, неистовствовало. Это было какое-то опьянение, какая-то зараза энтузиазма, мгновенно охватившая всех с низу до верху, неудержимая потребность высказаться как можно громче и энергичнее.

Это было великое торжество искусства! Не бывшие в тот вечер в оперной зале не в состоянии представить себе, до какой степени может быть наэлектризована масса слушателей, за пять минут не ожидавшая ничего подобного.

При повторении арии для всех стало очевидно, что Виардо не только великая исполнительница, но и гениальная артистка… Каждое почти украшение, которым так богаты мотивы

Россини, явилось теперь в новом виде: новые, неслыханно-изящные фиоритуры сыпались как блистательный фейерверк, изумляли и очаровывали, никогда не повторяясь, порожденные минутой вдохновения.

Диапазон ее голоса от сопрано доходил до глубоких ласкающих сердце нот контральто с неимоверной легкостью и силою. Обаяние певицы и женщины возрастало кресчендо в продолжение всего первого акта, так что под конец каждый с нетерпением ожидал возможности поделиться с кем-нибудь из близко знакомых переполнившими душу впечатлениями. И действительно, последовавший затем антракт не походил на обыкновенные: началось сильное передвижение, но довольно долго почти никто не выходил из партера: отовсюду слышались горячие восклицания восторга и удивления. Вызовам, казалось, не будет конца»…

28 октября, по собственному свидетельству Тургенева, он познакомился с Луи Виардо, а 1 ноября был представлен его жене. По словам Полины, человек, представивший ей Тургенева, сопроводил знакомство такой аттестацией: «Это – молодой русский помещик, славный охотник, интересный собеседник и плохой поэт»… Луи хотел поучаствовать в русской охоте (позже он написал о ней ряд очерков), Тургенев взялся это устроить. С чем и связано первое письмо, которое он пишет семье Виардо.

Луи Виардо (1800–1880 гг.) – французский писатель и публицист, муж Полины Виардо

# Часть третья. Письма[5]

Дорогой господин Виардо!

Я только что от Зиновьева. Вот что он сообщил мне по поводу этой охоты: к четырем часам надо быть готовым и уже отобедать; косули будут несомненно, лоси тоже, но не в таком количестве. Хотите, приезжайте ко мне в охотничьем снаряжении к половине третьего? Вы бы пообедали у меня, а потом отправились. За нами будут присланы сани. Должен вас предупредить, что эта охота обойдется нам не дороже 40 руб. асс. с человека и что мы вернемся завтра к семи часам вечера. Не забудьте захватить с собой подушку, потому что мы едем не в усадьбу Зиновьева, а в одно из его поместий. И, пожалуйста, не стесняйтесь. Если вы не можете или не хотите ехать, так и не делайте этого. Мне нет нужды говорить, что все мы будем очень рады поохотиться вместе с вами

Итак, приветствую вас и до свидания. «Che quereis Panchito»[6] – неотступно преследует меня со вчерашнего вечера. Это – прелестная вещь, а ваша жена было бы неверно сказать – величайшая, она, по моему мнению, единственная певица в дольнем мире.

***Весь ваш И. Тургенев.***

***Суббота.***

Полине он впервые пишет уже весной 1844, когда она уже уехала из России.

***С.-Петербург, 9 марта 1844.***

Всего четыре дня как я вернулся из Москвы, моя добрая и дорогая госпожа Виардо, и, пользуясь тем, что Евгений уделил мне немного места в своем письме, напоминаю вам о себе. Мое пребывание в Москве было не из самых приятных, воспаление легких заперло меня в комнате на целых два месяца и т. д., но вот, наконец, я возвратился.

С большим удовольствием узнал я из «Allgemeine Theater Zeitung»[7], что вы приехали в Вену в добром здравии, и надеюсь, что после отдыха во Франции вы вернетесь к нам в таком же состоянии. Вы вернетесь к нам, не правда ли? Верный вам город Петербург с нетерпением ждет вас, судите же сами, что должны чувствовать ваши близкие, преданные вам люди, ваша старая гвардия. Я всех их вновь повидал, мы беседовали, или, как выражается Пиццо, «злословили на ваш счет». Не скажу, что мы вспоминали о множестве вещей, поскольку мы ничего не забыли; но мы доставили себе удовольствие повторить их друг другу. Особенно много я болтал с Пиццо; он благородный, честный малый, искренне привязанный к вам. Я заставил его петь до полной потери голоса все: и последнюю сцену «Ромео», и «Stadt», и «Ya se ha muerto»[8]. Кстати, известно ли вам, что я на вас в обиде: вы ведь так ничего и не спели мне из вашего «Альбома»[9]. А известно ли вам, что в этом альбоме есть замечательные вещи? Например, «Часовня» или же «Мрак и свет», но особенно «Прощайте, ясные дни»; все это проникнуто страстной печалью, мрачной и нежной, заставляющей вас трепетать и плакать; и при этом – какая правдивость выражения! Я имел возможность судить об этом. Пиццо уезжает в Вену 27-го этого месяца, а я остаюсь здесь… Что до моих планов отпра-

---

[5] Письма приведены с небольшими купюрами, в основном касающимися впечатлений Тургенева и Полины о тех или иных певцах, или многочисленных случайных знакомых, так и не ставших друзьями дома.

[6] Испанская народная песня.

[7] Всеобщая театральная газета – нем., издавалась в Вене.

[8] Виардо пела контральтовую партию Ромео в опере В. Беллини «Капулетти и Монтекки», исполнявшейся с заменой третьего действия четвертым действием оперы Н. Ваккаи «Джульетта и Ромео», второе произведение, упомянутое в этом письме – романс Шуберта на слова Гейне из сборника «Schwanenge sang», третье – не опознано.

[9] Имеется в виду сборник романсов П. Виардо, изданный в Париже в 1843 г.

виться в путешествие… об этом нечего больше и думать. Через полтора месяца вы будете во Франции; я заранее радуюсь той радости, которую вы испытаете при свидании с вашей матушкой, с вашим ребенком, со всеми вашими добрыми знакомыми, но, если когда-нибудь мысль ваша перенесется на Север, не правда ли, вы не станете опасаться, как это могло быть перед вашей первой поездкой, что не найдете здесь искренних и верных друзей? Должен вам сказать, что вы оставили здесь о себе глубокую память; о вас говорят, вас любят, за исключением м-ль Волковой, вашего заклятого врага, но в утешение спешу сообщить, что ее брат, г-н Каламбур, изволит относиться к вам благосклонно… В Большом театре не осталось ни одного свободного места.

Лето я проведу в окрестностях Петербурга: буду охотиться с утра до вечера. Так хорошо целый день быть среди полей: там можно мечтать в свое удовольствие, а ведь вы знаете, что от природы я немного мечтатель. Кстати, об охоте – я надеюсь, что Виардо в этом сильно преуспел. Если мое письмо застанет его в Вене, передайте ему от меня тысячу добрых пожеланий и попросите его черкнуть мне пару слов, которые можно адресовать просто в Министерство внутренних дел на мое имя[10]. Я попросил Пиццолато сообщить мне, когда он будет в Вене, что у вас нового. Я хотел заглянуть в наши милые комнатки, но теперь там кто-то живет. Извините, что я говорю вам обо всем этом. Но что поделаешь? Наш брат голодающий питается воспоминаниями.

Итак, прощайте или, лучше, до свиданья. Будьте счастливы. Право же, когда я обращаю к вам это слово, мне нечего к нему прибавить, ибо я говорю его от всего сердца и говорю его часто, потому что мне кажется, что такие пожелания должны исполняться. Прощайте же еще раз и позвольте пожать вам руку, как в былое время.

***Ваш преданнейший друг И. Тургенев.***

В последующие годы они регулярно переписывались. Всего Тургенев написал Полине более 500 писем. В 1846 году Полина снова приехала в Петербург, но выступать не смогла из-за болезни и спешно вернулась во Францию, в свое имение Куртавнель, где Тургенев уже гостил летом 1845 года и где писал первые рассказы будущих «Записок охотника». 12 февраля «Северная пчела» публикует «печальное известие» о том, что «любимица нашей публики г-жа Виардо-Гарция уже не будет петь в нынешний сезон. После ее бенефиса открылся у нее злокачественный кашель, называемый коклюшем, и медики решили, что единственное верное средство к исцелению этого опасного недуга есть перемена места, т. е. климата».

*** * ***

Я только что написал, милостивая государыня, деловое письмо вашей матушке, в котором точно передаю ей все, что здесь говорится и делается относительно будущего сезона. Вы сможете просмотреть его и судить сами. Я убежден наперед, что все вами сделанное будет хорошо; но должен вам сказать, что ваше отсутствие этой зимой (если оно произойдет, чего я пока еще не хочу допустить) опечалит многих. Бесконечно благодарен за вашу записку и за подробности об устройстве вашей комнаты; они помогут мне живее представить себе то, о чем я так часто размышляю… Надеюсь, что вы будете настолько добры, чтобы сообщить мне свое окончательное решение; оно очень важно для многих и во многих отношениях. Желаю вам от всего сердца самого лучшего настроения и вдохновения в связи с задуманным вами трудом; особенно желаю вам доброго здоровья, спокойствия и энергии. Что касается меня, то я со времени вашего отъезда веду очень спокойную жизнь; работал много и с достаточным

[10] Тургенев служил в Министерстве внутренних дел с июня 1843 г. по 18 (30) апреля 1845 г., когда вышел в отставку в чине коллежского секретаря.

успехом; небольшое сочинение, посылаемое вам с Соловым, было написано для того, чтобы послужить темой разговоров, которые должны были происходить этой зимой… вы увидите, как все это нескладно. Надеюсь, что вы осуществите этим летом свой план занятий и вообще все ваши планы (поезжайте непременно на морские купанья, если врачи посоветуют). Если вы не приедете зимой в Россию, я надеюсь, что буду иметь удовольствие встретить вас где-нибудь в Европе в будущем году, так как собираюсь туда отправиться.

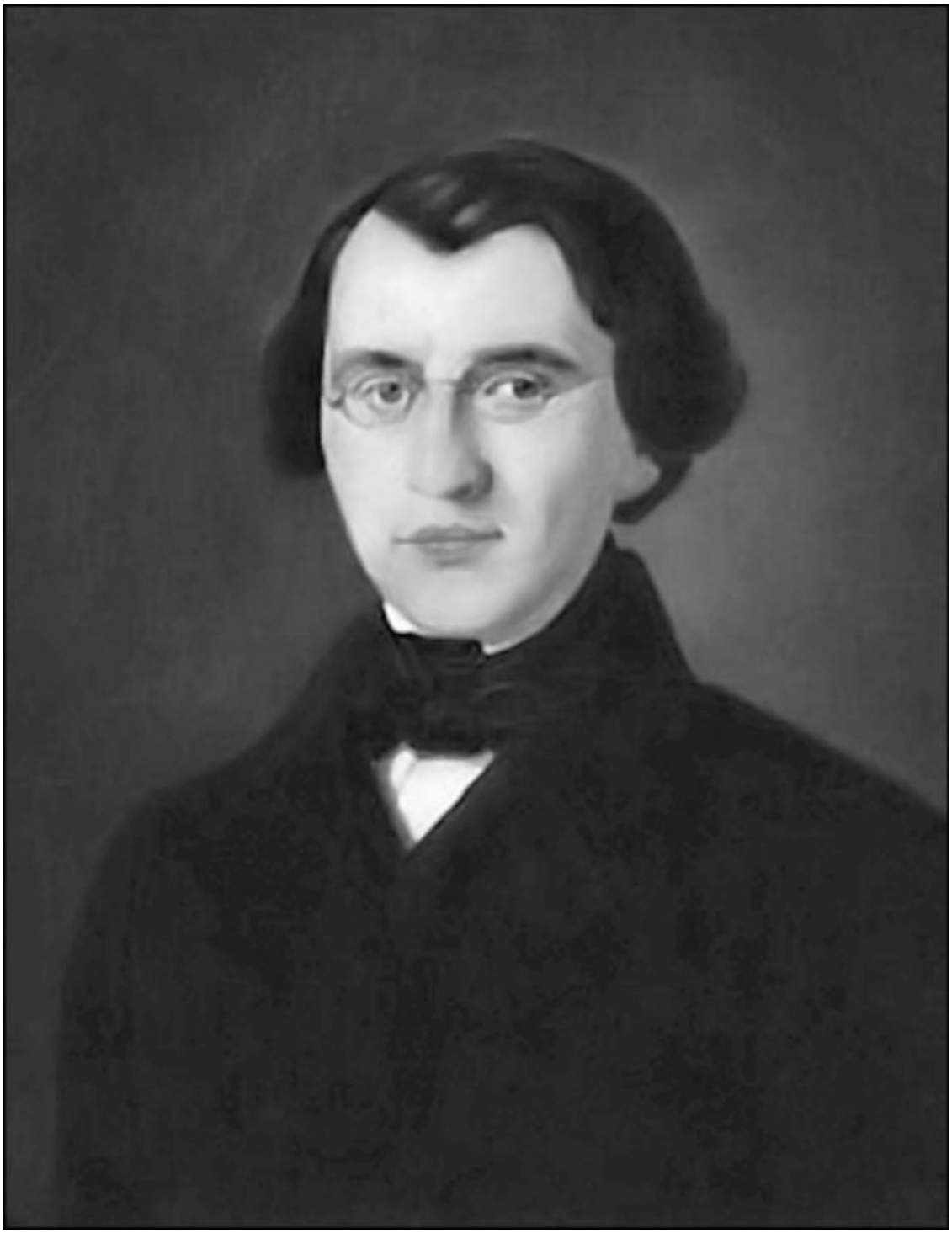
Соловой сказал мне, что ваш муж купил вам лошадь; радуюсь за вас. Вспоминайте иногда обо мне во время прогулок близ Куртавнеля или когда вы будете входить в оранжерею. Через несколько дней я еду в деревню; может быть, поеду в Одессу, но, прежде чем отправиться в путь, я окончательно устрою свои дела, как я это решил ранее. Ich bin immer der selbe und werde es ewig bleibena[11]. У меня голова полна всяких планов (литературных), не знаю, что из них выйдет. Если позволите, я пошлю вам одно или два письма из деревни и из Одессы; в них я пущусь в описания. То, что я сообщаю вашей матушке по поводу вашего ангажемента и пр., – точный отголосок того, что говорится здесь. Можете рассчитывать на это и устроить свои дела соответственно. Приезжайте… Во всяком случае, будьте добры сообщить мне свое решение. До свиданья, будьте здоровы и счастливы… приезжайте опять; вы здесь найдете все таким же, каким оставили. Прощайте еще раз; расскажите вашей доброй матушке, как я ей предан. Целую еще раз руки матери и дочери и остаюсь

***Yours for ever***[12] ***И. Тургенев.***

В письмах он сообщает супругам о театральных и политических новостях, о своих уроках испанского языка, и вообще обо всем, что может быть им интересно. Так одно из своих писем из Лондона, полное рассуждений о слышанных там операх, Тургенев завершает таким образом: «Ах! дорогой Виардо, какую я здесь видел собаку! Как я ее купил бы, если б она не стоила 300 франков! И как уворовал бы, если б не был человеком более или менее добродетельным, или, вернее, если б мог это сделать! Но память о ней я увожу с собой и сохраню до конца моих дней».

[11] Я всегда сам по себе, я навсегда таким останусь *(нем.)*.

[12] Ваш навсегда *(англ.)*.



Иван Тургенев в возрасте 26 лет. Художник Луи Эжен Лами. 1844 г.

Он познакомился и сдружился с другими членами семьи Виардо, прежде всего – с ее матерью, которую глубоко уважал.

***С.-Петербург, 21 окт. ст. ст. 1846.***

Вот уже три дня, милостивая государыня, как я приехал в Петербург из деревни, где провел более пяти месяцев, и, зная, что вы в Берлине я не мог воспротивиться желанию написать вам. После того как я сблизился с вами и вашим мужем, я не могу примириться с мыслью, что опять стану для вас чужим, и я пишу вам в надежде, что вы не совсем забыли меня

и что вы не без некоторого удовольствия получите весточку из города, где вас так любили и любят до сих пор… Благодаря любезности м-ль Лоры, которая соблаговолила сама ответить на мое письмо, я перестал быть в полном неведении относительно того, что вы делали в этом году; Соловой написал мне всего лишь одно письмецо. По-видимому, два письма, посланные мною после отъезда из Петербурга (одно на ваше имя, другое – на имя Виардо), не дошли до вас. Я не знаю, чем объяснить это, или, вернее, могу лишь догадываться. Лица, видевшие вас две недели тому назад в Берлине, говорили мне, что, как им показалось, здоровье ваше превосходно; вам нетрудно представить себе, что я был счастлив узнать об этом. Что касается Виардо, то я уверен, что родной воздух и охота его совершенно исцелили. Кстати, об охоте: можете сообщить ему, что в деревне я только этим и занимался и что его ружье получило там некоторую известность, во всяком случае, гораздо большую, чем сам пишущий эти строки охотник. Чтобы покончить с моей особой, сообщаю, что чувствую я себя очень хорошо, что все это время я провел как настоящий сельский житель и что в остальном я все тот же, ибо, к моему счастью или несчастью, я не умею меняться.

На другой день по приезде в Петербург я пошел в Итальянскую оперу. Давали (в первый раз этой зимой) «Норму» с г-жой Джули (Норма), Гуаско (Поллион) и некоей м-ль Виолой (Адальджиза). Когда я вошел в театр, у меня болезненно сжалось сердце – вы легко можете себе представить, почему – и я поймал себя на том, что не без удовольствия рассматривал знакомые лица хористов. Не стану пересказывать вам все подробности спектакля; но вот какое впечатление произвели на меня исполнители. У г-жи Джули голос весьма высокий, не очень сильный (вопреки тому, что здесь говорят), но резкий и не знающий устали. Тембр не особенно приятный – по первому впечатлению, но к нему скоро привыкаешь; нижние ноты глухие и вибрируют. У нее мало вкуса, теплоты; манера исполнения драматическая или, вернее, мелодраматическая (в «Casta diva» она поет так, словно влюблена в луну); ей недостает благородства; как певица она слишком усердствует, как актриса это почти манекен… и все-таки она производит впечатление, даже волнует. Она злоупотребляет тягучими нотами, внезапными переходами; ее мастерство далеко от совершенства, но не лишено блеска. В общем, она нравится и должна нравиться, потому что это все же замечательная певица. Гуаско, несомненно, тоже хороший певец, но он потерял голос. То, что от него осталось, звучит громко, но пусто и вяло; высокие ноты стоят ему большого труда. Вообще он поет тяжело; не знаю, вызвано ли это его привычкой к canto spianatoa[13]. У него много души, благородства и вкуса, но удовлетворяет он только наполовину; его ослабевший голос скользит, а не проникает. Что же касается м-ль Виолы, то она школьница в полном смысле слова: голос – меццо-сопрано, почти контральто, сносный, но даже м-ль Мольтини!!! могла бы давать ей уроки. Роль верховного жреца исполнил некто г-н Шпех, неповоротливый немец с гнусавым и фальшивым голосом, который не стоит Версинга. Зрители, вероятно, по привычке, заставили повторить аллегро из дуэта Нормы и Адальджизы, ибо по вине м-ль Виолы этот дуэт был испорчен. Г-жа Джули была принята публикой превосходно…

О вас, милостивая государыня, здесь очень сожалеют. Вопреки очевидности, не хотят верить, что вы этой зимой не приедете В Петербург. По городу ходят всевозможные слухи. То говорят, что государь дал категорическое приказание пригласить вас во что бы то ни стало; то рассказывают, будто Кавоса посылают к вам с предложением 80 000 рублей! Я не был удивлен и, конечно, очень доволен вашим успехом в Берлине. Проведете ли вы зиму там? Или отправитесь во Франкфурт? Если вы желаете быть в курсе петербургских театральных новостей, необходимо, чтобы вы сообщили мне о ваших планах и дали свой адрес. Вот мой: г-ну И. Т. Большая Подьяческая, дом Зиновьева.

[13] Плавному пению *(ит.)* – особый стиль пения.

У меня до сих пор почти не нашлось времени, чтобы повидаться с нашими друзьями… Не думаю, чтобы мне удалось покинуть Петербург нынешней зимой; а мой план совершить путешествие в Париж улетучился, как дым. Впрочем, ничего еще не решено… Я колеблюсь… сейчас мне ничего другого не остается.

А знаете, милостивая государыня, что с вашей стороны было большой жестокостью не написать мне ни слова из Куртавнеля… Милый Куртавнель… Я часто думал о нем этим летом. Достроена ли оранжерея? Видели ли вы г-жу Санд? Музицировали ли по вечерам? Сочиняли ли? Если пожелаете, сообщите мне об этом хоть что-нибудь – nachtraglich [14] – как говорят немцы. Вы слишком хорошо знаете, как все это меня интересует.

Вот какое длинное получилось письмо, милостивая государыня. Если Виардо в Берлине, скажите ему, что я жму его руку и прошу написать мне несколько слов. Переписка, слава богу, возобновилась, и лишь от вас будет зависеть ее продолжение. Ваше молчание и без того уже достаточно печалило меня, поверьте. Позвольте же мне, прежде чем кончить письмо, выразить самые искренние пожелания вам счастья, и верьте, что, раз узнав вас, так же трудно вас забыть, как трудно не привязаться к вам. Прошу вас передать от меня поклон вашей матушке. Как поживает маленькая Луиза? Выросла? Прощайте; будьте счастливы и соблаговолите вспоминать иногда о вашем преданнейшем друге.

***И. Тургенев.***

***Париж, 1-го декабря 47.***
***Среда***

Когда вы получите это письмо, милостивая государыня, ваш дебют в Гамбурге уже пройдет, надеюсь, с триумфом, и если я пишу вам теперь, то потому, что не хочу опоздать с моими поздравлениями. Итак, вы счастливо окончили вашу первую кампанию.

Только что сел за это письмо, как ваша матушка соблаговолила передать мне письмо, которое вы написали ей на другой день после вашего выступления в «Роберте». Вы можете себе представить, сколько удовольствия доставило мне содержание этого письма! Я прыгал от радости по комнате. Ах! очень хорошо, милостивая государыня, очень хорошо, очень хорошо. Среди ваших триумфов вы не забываете ваших парижских друзей, вы сообщаете им о себе; и это потому, что, как вам известно, никто в мире не принимает такого большого участия, как они, во всем, что с вами происходит. Нам остается только благодарить вас; оттого-то, поверьте, мы и делаем это очень часто и от всего сердца. Теперь мы ждем вестей о «Норме» и «Сомнамбуле» и заранее радуемся вашему успеху. Ах, как хорошо получать хорошие вести! Danke, danke[15]…

Что могу я сообщить вам со своей стороны? Все здоровы, – это для начала. Я скоро возобновлю мои уроки у г-на Лаборда, которыми до сего дня пренебрегал. Я много работаю. Один из моих друзей, но это между нами, показал мне письмо Гоголя, в котором этот человек, вообще такой высокомерный и придирчивый, говорит с большой похвалой о вашем покорном слуге. Одобрительный отзыв такого мастера доставил мне большое удовольствие. В «Illustrated London News»[16] помещена небольшая заметка о вашем дебюте в Дрездене, в которой употреблены выражения: «quite astonishing», «tremendous applause», «an unprecedented furor»[17] и Т. д. Должно быть, Тихачек оказался достойным партнером. Не обрывал ли он время от времени звук? Кто будет петь с вами в Гамбурге?

---

[14] Дополнительно *(нем.)*.

[15] Спасибо, спасибо *(нем.)*.

[16] «Иллюстрированные лондонские новости» – английская газета.

[17] «Совершенно поразительно», «бурные овации», «беспримерный успех» *(англ)*

Через неделю у «Hamburger Correspondent» не будет другого столь же внимательного читателя, как я. Не могу удержаться, чтобы не сообщить вам еще раз, что все идет очень хорошо, очень, очень хорошо (плюньте, пожалуйста, три раза). Я в невиданно хорошем расположении духа. Представьте, я пою!!.. N. B. Сейчас я пою по-фински[18].

…Вы, может быть, найдете, что я пишу довольно глупо и весьма бессвязно? Но я всегда таков, когда я в хорошем настроении. Я был бы еще в лучшем настроении, ручаюсь вам, если бы вчера вечером я мог быть не в Париже, а в Дрездене! Ведь вчера вы пели в «Сомнамбуле», не так ли? Я очень часто вспоминал об этом во время этой нескончаемой «Клеопатры», и если я кому-то и аплодировал, – то, конечно, не Рашели. Но – pazienza[19].

Итак, вы в Гамбурге. Как вам нравится этот город? Где вы живете? Вероятно, на улице Jungfernstieg?

Иван Тургенев. Рисунок Полины Виардо

Однако, право же, я болтаю, как сорока. Пора закрыть мой клюв. (М-ль Альбони завтра дебютирует в «Семирамиде»). Обещаю вам, милостивая государыня, через месяц написать

[18] По-видимому, речь идет о стихотворении Гёте, впоследствии переведенном Тургеневым под заглавием «Финская песня» и положенном на музыку П. Виардо.

[19] Терпение *(ит.)*.

письмо по-испански и притом хорошим слогом – ручаюсь. Тысяча приветов вашему мужу. Луиза, обнимаю тебя от всего сердца. А вам, сударыня, очень дружески жму руку, благодарю нас most fervently[20] за добрую память и остаюсь навсегда

***совершенно вам преданный И. Тургенев***.

***Париж, 4 января 48***

Ах! милостивая государыня, сколь хороши длинные письма! (как, например, то, что вы только что написали вашей матушке). С каким удовольствием начинаешь их читать! Словно входишь среди лета в длинную, очень зеленую и прохладную аллею. Ах! говоришь себе, как здесь хорошо; и идешь небольшими шагами, слушаешь птичье щебетанье. Вы щебечете гораздо лучше их, милостивая государыня. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе; знайте, что вы никогда не найдете более внимательных и более благодарных читателей. Представляете ли вы себе вашу матушку у камина в то время, как я по ее просьбе читаю ей вслух ваше письмо, которое она имела уже возможность почти выучить наизусть? Вот когда ее лицо надо было бы написать! Кстати, я не видел еще ее портрета; ей хочется показать мне его только тогда, когда он будет окончен, что не замедлит случиться. Я тоже собираюсь попросить г-на Леона сделать мой карандашный портрет.

Also, willkommen in Berlin[21]? Я знаю, где вы живете; это недалеко от Brandenburger Thor[22]. Простите мне смелость, с которой я позволю себе говорить о вашей квартире, но почему некоторые места, именуемые только по-английски, вероятно потому, что англичане – народ, на словах самый пристойный, почему же эти места предоставлены безжалостности времен года и суровости открытого воздуха? Прошу вас, будьте осторожны и устройте их лучше: в пору гриппов и ревматизмов это опаснее, чем кажется с первого взгляда. Вы порядком посмеетесь надо мной и над тем, чем я заполняю свое письмо, но, уверяю вас, что это сильно меня встревожило. Я отсюда вижу, как вы улыбаетесь, приподнимая правое плечо и наклоняя голову в ту же сторону (свойственное вам движение, от которого я не советую отказываться, потому что оно очень мило, особенно, когда его сопровождает некая гримаска…), вижу, как расцветает большая рыжая борода друга Мюллера…

Итак, вы дебютировали в «Жидовке»[23]… Еще раз willkommen in Berlin. Будьте здоровы, сочиняйте, развлекайтесь и будьте счастливы.

Надо все-таки рассказать вам немного о Париже и о том, что там делается… В день Нового года мы по-семейному пообедали у вашей матушки. Вечером там играли в невинные игры, и г-н Ги все время предлагал фанты, самые хм… хм… В конце концов он учтиво обнял м-ль Антонию за талию и крепко поцеловал ее в щеку… я ошибаюсь, не так уж крепко: при отсутствии зубов это невозможно. Словом, мы весьма позабавились. Благодарю вас очень – sehr – mucho – очень – muche за несколько слов обо мне в вашем письме к г-же Гарсиа. Буду весьма рад получить письмо от г-на Луи. Очень дружески приветствую всех вас. Благодарю Луизиту за добрую память обо мне и отвечаю ей тем же. Прощайте, милостивая государыня, желаю вам всего самого лучшего.

***Преданный вам И. Тургенев.***

---

[20] С величайшим жаром *(англ)*.

[21] 2 Добро пожаловать в Берлин *(нем.)*.

[22] Бранденбургских ворот.

[23] Опера Мейебера.

# Луи и Полина Виардо – Тургеневу

***7(19) января 1848. Берлин.***

Раз уж вы, мой дорогой друг, в столь хорошем рабочем настроении и намереваетесь завершить цикл рассказов о нравах русского народа, деревенских жителей, мне надобно предложить вам одну идею, которая могла бы послужить еще одной темой для нашей совместной работы.

С тем немногим, что я знаю о положении крепостных в России, с тем, что я видел, читал или слышал, я тоже подумывал о том, чтобы написать новеллу па русскую тему, и решил взять за основу, в качестве сюжета, один случай, слышанный мною от кого-то, может быть, от вас самого. Вот, в двух словах, о чем идет речь.

Некий крестьянин, глава семьи, старик (назовем его Иваном), выбран старостой своей деревни или старшиной кантона, вступив в соперничество с тем, кого назовем Дмитрием. У старика есть единственная дочь, в которой он души не чает и которую хочет выдать замуж за молодого человека из этих мест. Выборы и обручение. Приезжает помещик – он забирает девушку к себе. Разъяренный жених поднимает крестьян и подстрекает их спалить помещика в его имении за этот и другие недостойные поступки. Приготовления. Иван собирает их и, несмотря на отцовское горе, увещевает, взывая о милосердии по отношению к виновному или хотя бы об отсрочке. Затем он увещевает помещика, показывая ему низость и опасность его поведения. Последний насмехается над ним и, чтобы проучить своих крестьян, забирает другую девушку, предназначенную Дмитрию. Тогда Иван, побуждаемый, разумеется, не только желанием личной мести, но и общественного блага, идет и своей рукой убивает помещика и, освободив от него всю округу, сдается властям.

Вы с первого взгляда можете заметить, сколько местного колорита, описания нравов, обычаев, законов, системы управления, истории, обрядов и т. п. может вместить этот небольшой сюжет, словом, дать понятие о положении и жизни русских крестьян. Сюжет, как я полагаю, не подходит для России; но его следовало бы разработать и опубликовать на французском языке. Вы могли бы вставить в него все детали, которые рассыпаны уже в написанных вами рассказах, и сочинить настоящий и полноценный роман нравов. Я предлагаю вам участие не только при переводе, если вы напишете его по-русски, или при редактировании, если вы напишете его сразу по-французски, что вы можете сделать превосходно, но и в качестве ответственного издателя и официального автора, пока вам не станет удобным обнародовать свое авторство. Сейчас я держу в руках новую книгу (на немецком и французском языках) некоего барона Августа Гартхаузена, которая посвящена внутреннему устройству России, я могу сказать, что почерпнул исторические материалы для романа из нее, а также из Шницлера и других источников, да и своих воспоминаний. Я уже опубликовал в «Revue Independante» большую статью о крепостных в России. Так что я сниму с вас все подозрения.

Что вы на это скажете? Подумайте. Если сюжет вас устраивает, а я думаю, что он хорош при условии, что вы измените его по своему усмотрению, и если вы находите смысл в том, чтобы вставить в него все интересные детали из уже законченных вами рассказов, то скорее manos a la labor. С конца марта до конца апреля у нас будет месяц, чтобы поработать вместе, а потом у меня будет возможность выполнить уже собственно мою задачу за четыре месяца английского сплина.

Более ничего нового сообщить вам не могу, даже об охоте, что меня огорчает. Прощайте и до свидания.

***Сердечно ваш Луи В.***

Зачем же оставлять так много пустого места? Почему не заполнить его хотя бы только и простым приветствием для того, чтобы отплатить вам тем же за вашу маленькую приписку в письме матушки. Браво, Don Juan (по-испански), браво! вы работаете как одержимый, как пишет мне матушка. Это хорошо, это очень хорошо, раз ваши способности вам это позволяют. Воспользуйтесь благодатным дуновением, которое вам посылает Аполлон. У вас появился вкус к работе. Это лучшее, чем стоит заниматься в любой стране, в любом положении, особенно в вашем – положении богатого сынка, и особенно в Париже, где, по общему мнению, работать надо не покладая рук и т. д. и т. д. Трудитесь на поприще искусства, вы в этом никогда не раскаетесь и всегда останетесь молодым и открытым для всех радостей жизни и стойким ко всяческим невзгодам. Я тоже тружусь и, признаюсь, это является моим единственным развлечением, единственной радостью. Если это не цель моей жизни, то, по крайней мере, способ существования. Пишите. Прощайте.

***Полина Виардо.***

***Куртавнель.***
***Понедельник, 29 апреля 1850.***
***Полдень***

Добрый день, милостивая государыня. Guten Tag, theuerstcs Wesen[24].

Как вы себя чувствуете сейчас – в эту минуту? Вы только что встали (в Берлине одиннадцать часов) – слегка утомленная, но и, надеемся, очень довольная своим вчерашним триумфом.

Мы с Гуно[25] следовали вчера вечером за вами шаг за шагом. Мы говорили: «Сейчас она поет дуэттино»; «ах! теперь начинается «Ах, мой сын», и т. д. и т. д. По окончании оперы мы аплодировали и бросали цветы (это была ветка белой сирени). Надеюсь, что мы были не одиноки. С нетерпением ждем в четверг письма: в этот день Леже покажется нам прекрасней Аптиноя. Теперь, по крайней мере, никто не будет вас больше мучить, и Мейербер перестанет пить вашу кровь каплю за каплей. Итак, вам надлежит быть здоровой, очень счастливой, очень спокойной и очень веселой.

Вот уже три дня, как мы обосновались в Куртавнеле. Здесь – надо признаться – очень холодно – и если в Берлине ветер колюч, то на возвышенной равнине Бри он пронзителен. Однако мы довольны, что находимся здесь – и самый дом стряхивает с себя зимнее оцепенение, постепенно оживая. Пока никто из нас так и не взялся за дело. Третьего дня и вчера вечером Гуно немного поиграл нам – вот и все; но это еще впереди. Лодка спущена на воду, но пока отчаянно протекает – что делает ее мало пригодной для прогулок: надо подождать, пока дерево набухнет.

[24] Добрый день, дражайшая *(нем.)*.

[25] Шарль Гуно, композитор.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.